

БОЛЬШАЯ
ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

У ПИРАМИДЫ



Москва
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М17

Художественное оформление серии *Алексея Дурасова*

Макушинский, Алексей.

М17 У пирамиды / Алексей Макушинский. — Москва : Эксмо, 2018. — 448 с.

ISBN 978-5-04-096437-6

Эссе 2000-х годов – о литературе, о путешествиях, о разных местах мира, о катастрофах двадцатого века и еще о многом другом. Владислав Ходасевич, Филип Ларкин, Маргерит Юрсенар – вот, наверное, главные герои этой книги, география которой простирается от Эльца до Грасса, от Рима до Москвы. Воспоминания чередуются с научными статьями, большие, тщательно структурированные тексты в лучших традициях европейской эссеистики – с фрагментами, стремящимися удержать мимолетные «мгновения мысли». Впервые изданный в 2011 году, сборник был подвергнут автором значительной стилистической правке.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-096437-6 © Макушинский А., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Краткое предуведомление

В седьмом разделе этой книги читатель найдет тексты, довольно сильно отличающиеся от всех прочих. Написанные, в некоторых случаях, первоначально по-немецки и лишь затем переведенные мною на русский, снабженные сносками и не всегда, увы, свободные от академического жаргона, «умных слов», трескотни терминов, они относятся к тому научному (или псевдонаучному) жанру статей, которому сам я решительно предпочитаю вольный, воздушный, волшебный жанр эссе, что и видно по всем другим разделам книги. Тем не менее мне было жаль от этих статей отказаться — некоторые мысли, в них высказанные, мне по-прежнему дороги. Превратить их в эссе тоже не представлялось возможным, слишком многое пришлось бы в них переделывать, в сущности — писать их заново. Что же касается вообще текстов, здесь собранных, то я охарактеризовал бы их как остановленные мгновения мысли. Мгновения эти уже — в прошлом, хотя и недавнем. Мои тогдашние взгляды не всегда и не полностью совпадают с моими теперешними. Решительные заявления (вот так и не иначе!) на самом деле таят в себе вопрос и сомнение (может быть, так? или все же иначе? допустим, на мгновение, что — так). Не желая переписывать себя самого,

Алексей Макушинский

позволю повторить здесь сказанное ниже: «У меня нет мнений, но у меня бывают мысли. Эти мысли изменчивы, они движутся, перетекают одна в другую, отрицают друг друга, отрицают временами и себя же самих, спорят с собою, вновь с собой соглашаются. Эти мысли словно примеряют на себя — или к себе — разные мнения, как маски. Иногда им даже нравится в этих масках, они ходят в них подолгу, щеголяют ими, показывают их знакомым, незнакомым, просто прохожим. Но они всегда знают, что маска есть маска, что рано или поздно они ее снимут».

Майнц, 18 мая 2011

Первое издание этой книги вышло в 2011 году. Готовя ее для второго, я внес небольшую стилистическую правку, стараясь избавиться от случайных слов, уточнить и заострить некоторые формулировки. Мгновения мысли, о которых писал я в предыдущем предуведомлении, кажутся мне теперь отступившими от меня в еще более далекое, иногда уже с трудом распознаваемое, прошлое. Под покровом решительных заявлений (так-то и так-то, мол) по-прежнему таятся вопросы (и вправду, может быть, так?), только покров этот сделался с годами еще прозрачнее, еще тоньше.

Варшава, 18 мая 2018

I. Двадцатый век

1.

Двадцатый век распадается на две половины. Первая выдалась на удивление мерзкой, кроваво-слякотной, с верденским газом, колымским ветром, освенцимским дымом, свинцовым градом, громами бомбардировок. Вторая на развалинах первой пыталась построить свое скромное благополучие. Вторая все додумывала — и все никак не могла додумать — дикие, горькие, гордые, иногда очень глупые, мысли чудовищной и блистательной первой. Первая была заносчивой и жестокой. Вторая оказалась гуманней, смиренней.

2.

Неправда, что век начался в четырнадцатом году. В четырнадцатом году он лишь заявил о себе, показал свое лицо, обнажил свой оскал. Он начался тогда, когда Ницше объявил человека подлежащим преодолению, когда Маркс превратил его в производное от экономики, когда Фрейд растворил его в бессознательном.

3.

Двадцатый век начался в девятнадцатом, может быть, даже раньше.

Алексей Макушинский

4.

Двадцатый век — это век борьбы. Все боролись со всеми, государства, народы, политические системы, идеи, взгляды и мнения. Коммунизм боролся со всем миром, фашизм боролся с ним же. Коммунизм и весь мир, объединившись, боролись с фашизмом. Колонии боролись с наследниками Колумба. Коммунизм делал вид, что поддерживает колонии. Коммунистические колонии пытались от него отколоться.

5.

Но глубинная, но самая главная борьба оставалась скрытой от взоров — и до сих пор, может быть, остается. С тех пор, как девятнадцатый век, заканчиваясь, *отменил человека*, началась и продолжается неутрачиваемая борьба между *отменителями и сберегателями* его.

6.

Век-волкодав кидался на плечи самого, может быть, *живого* человека, в этот волкодавский (и вавилонский) век угодившего. Потому, наверное, и кидался. Потому, в конце концов, и загрыз.

7.

Это борьба *живого и мертвого*; она идет в двадцатом веке «на всех фронтах».

8.

«История движется борьбой», писал Ходасевич в своем невероятном некрологе на смерть Маяковского (единственном известном мне некрологе, автор которого не оплаки-

вает, но прокликает покойника). «Однако счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такого счастья не выпало. Тяжкая участь наша — бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными... И это даже в областях, столь, казалось бы, чистых, как область поэзии».

9.

Двадцатый век есть век нового варварства. Грубого варварства и варварства утонченного, изысканного, модного, шикарного, иронического. Грубое варварство рано или поздно начинает утонченное — уничтожать. Объявляет его «буржуазным формализмом» или, наоборот, «культур-большевизмом», клеймит во всех газетах, сжигает на площадях. Оно путает его, по неизбывной своей дурости, с культурой, втайне ему ненавистной. Между тем утонченное варварство, уничтожаемое варварством примитивным, не перестает быть по-прежнему варварством. Преследования и надругательства не отменяют исконного их родства — революция, как известно, пожирает своих же детей, артиллерия бьет по своим.

10.

Варварство есть варварство, утонченное или грубое — все равно. Когда Блок записывал в дневнике, что гибель «Титаника» обрадовала его «несказанно», потому что, видите ли, «есть еще океан», думал ли он о тех несчастных, что замерзли в ледяной воде этого «океана»? Этих несчастных было полторы тысячи, но не в цифрах здесь дело. Боюсь, что не думал. Думал — абстракциями

Алексей Макушинский

(варварство всегда ими думает). «Цивилизация» («Титаник») гибнет, «стихия» («океан») торжествует. «Несказанная», конечно же, радость.

11.

Это смешение утонченного варварства с культурой и, соответственно, противопоставление их варварству грубому запутало всю картину, смешало все карты. Если угодно, это одна из важнейших подмен двадцатого века (двадцатый век вообще век подмены, подтасовки, подделки). На самом деле, разделительные линии проходят не здесь. Не в том дело, что соцреализм пожрал, в конце концов, ревангард, а дело в том, что и ревангард, и соцреализм, каждый по-своему, уничтожали культуру как таковую, ревангард — откровенно и риторически, бросая Лермонтова с корабля современности, соцреализм двулично, подло и действительно, объявляя себя борцом за эту самую, в его устах звучавшую так мерзко, культуру, на самом деле и в то же самое время убивая ее в подвалах Лубянки, на Второй речке, в цензурных объятиях.

12.

Двадцатый век был одержим современностью. Он все боялся отстать от себя самого. Все бежал за самим же собою. Наступившему варварству культура казалась устаревшей, «отжившей свой век», «несовременной», «несовременной». Тридцати-с-чем-то-летних Ахматову и Мандельштама в двадцатые годы в советской прессе упорно называли, если называли вообще, «стариками». Бунин? Ну, тот вообще — «девятнадцатый век». А на самом деле, все подлинное, все значительное своему времени всегда «не-

созвучно». Это несозвучное времени и оказывается затем самым лучшим, что было в то или иное время написано, создано. «Нет, никогда ничей я не был современник...» Настоящее — не современно.

13.

Это были вовсе не арьергардные бои отжившего прошлого с настоящим и будущим, как хотелось думать «авангарду». Это была всегдашняя, неизменная борьба настоящего, подлинного, обращенного к вечности и ведущего в будущее с ничтожной накипью современности.

14.

Он шалел от собственной дерзости, этот век. Стоял перед самим же собой, разводя руками, разинув рот. Его основное занятие — он ставит себе диагноз. Да не может этого быть! говорит двадцатый век, шалея от себя самого. А раз не может, то скоро закончится. Двадцатый век — умирающий век. Убивающий и убывающий век. «Бытие-к-смерти». «Закат Европы». «Умирание искусства». «Конец романа». «Кризис цивилизации». Вот сейчас все рухнет, вот сейчас все развалится.

15.

Не развалилось, не рухнуло, пророчества не сбылись. Его диагнозы были преувеличенны. Он судил по себе. Он носил в себе свою гибель — и принимал ее, в самоуверенности своей, за гибель цивилизации вообще. Он думал, что на нем свет клином сошелся (сходилась, скорее — тьма). А свет светит по-прежнему, и тьма не объела его.

16.

Дивясь себе, он не удивлялся ничему, но был подозрителен, этот век. Был особенно подозрителен к другим векам, другим временам. Он разговаривал — вернее, не разговаривал с ними, но выслушивал их, как психиатр слушает сумасшедшего, отыскивая *симптомы* (какие-нибудь «структуры сознания», какие-нибудь «способы познания мира», какие-нибудь, не приведи Господь, «дискурсы»). О, блаженные времена, когда Шопенгауэр мог соглашаться (или не соглашаться) с Платоном. Двадцатый век не принимал никого всерьез. С высокомерием холопа и ложной скромностью деспота он ни с кем не говорил по существу. Он все только ставил диагнозы, и себе, и другим.

17.

В русской революции все двоится, писал Бердяев. В двадцатом веке двоится тоже. Где кончается *диагноз* и где начинается *симптом*, не разобрать, не решить. «Я покажу вам болезнь века» — «Спасибо. Ты сам же эта болезнь и есть». «Театр абсурда», к примеру, — диагноз или симптом? Кафка? Скорее все же симптом.

18.

Знаменитая фраза, приписываемая Дельвигу («закон Дельвига», как говорил Ходасевич) — «не должно ухабистую дорогу изображать ухабистыми стихами», — применима не только к стихам. Дороги были в двадцатом веке куда как ухабисты, все кареты сломались на этих дорогах, пассажиры, если не погибли под лошадьми, не умерли от тряски и скуки, выходили из экипажей несчастные, помятые, желтые. Ухабистых стихов тоже было немало.

19.

Все разваливалось в злосчастном этом столетии, отмененный человек разлетался на куски и ошметки.

20.

В 1914 году еще молодые тогда Бердяев и Булгаков (Сергей) побывали на выставке Пикассо в галерее Щукина. То, что они увидели, поняли и сказали, следовало бы поставить эпитафией к начинавшемуся столетию. «Труп красоты», назвал свой отчет и *ответ* Булгаков. Бердяев говорил о «распластовании», о «развоплощении», об исчезновении человеческого образа в «космических вихрях». Кто их услышал? «Век» услышать их, конечно, не мог, век сам одержим был «распластованием», «развоплощением». Век и был «космическими вихрями», чем же еще?

21.

Кто-то все же услышал. Не зря так часто ссылаются на Бердяева Ганс Зедльмайр в своей книге «Потеря середины», одной из умнейших книг двадцатого века. О «дегуманизации» искусства идет в ней речь, о погружении в бездну неорганического, в хаос и ночь, о подмене живого неживым, об отрицании иерархий, об обращении к низшему, о спекуляции на обращении к низшему. Голоса в пустыне? Конечно. Кажется, что двадцатый век победил.

22.

Это только так кажется. Его поражение заложено в нем самом.

23.

В юности, помнится, поразила меня фраза из автобиографического отчета Томаса Манна о создании «Доктора Фаустуса» («Роман одного романа»). Объясняя, почему он ввел в роман рассказчика (Серенуса Цейтблома), Томас Манн пишет: «Развязать демонизм типично недемоническими средствами, поручить его изображение гуманно-чистой, простой душе, душе, одержимой любовью и страхом...» На то Томас Манн — Томас Манн, один из немногих, кто стремился поставить *диагноз*, не превращая его в *симптом*. Это вопрос принципиальный, принципиальнейший... Можно, и даже должно, говорить о демоническом, но не следует давать ему самому высказаться, сказаться, *случиться*. «Я скажу — о нем; я не позволю ему — явиться, самому сказать о себе» — так писал я в моем собственном скромном прозаическом опыте, опусе, еще в конце того века.

24.

Он *хотел* смерти, этот век, вот в чем дело. «Танатос» или не «танатос», уж я не знаю, но он хотел смерти, и все дело в этом. Ему *нравилось* механическое, неживое, железобетонное. «Всякий похож на машину», — говорил Энди Ворхол, один из мелких, но характерных бесов этого века. Даже писание стихов — живейшее из живых дел — пытался он превратить во что-то механическое, в создание железобетонных конструкций. Очевидно, есть что-то в человеке, что радуется стеклянно-алюминиевому безличию современности, пластиковой еде, аммиачным напиткам. Почему-то же ходят люди в Макдоналдс. Знают ведь, что отравы, а ходят.

25.

Подмена живого неживым, структурой, конструкцией. Влечение к неорганическому, каменному, железному. Живой литературы нет, говорил формализм, есть только «прием». Ничего живого нет вообще, говорил структурализм, есть только «структура». Потому двадцатому веку так хотелось превратить гуманитарные науки в точные. Заменить живое биение живой жизни подсчетом разнообразных «синтагм» («фонем», «морфем»...). Заменить мечту, страсть и счастье — анализом, схемой, терминологией. Ему казалось, что это тоже мечта о научности, сциентизм. Он ошибся. Это была мечта о конце света, о прекращении жизни.

26.

Избавление. Смерть — избавление. Исчезновение личности — вот что важно и нужно, все прочее — примечания. Освобождение от груза гуманности, от тягот человеческого существования, от обязанностей, накладываемых на человека его невероятным, по Паскалю, положением между зверем и ангелом, его предстоянием Богу... Что ж удивительного, если небезызвестный Мишель Фуко в предисловии к своему небезызвестному опусу «Слова и вещи» прямо так и пишет, что его, Фуко, «утешает» и приносит ему «глубокое успокоение мысль о том, что человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму». Этот «холмик» в оригинале, скорее, «складка», *un simple pli dans notre savoir*. *Un pli...* Пли! говорят, в сущности, все Фуко этого мира.